

Аверинцев С. Несколько соображений о настоящем и будущем христианства в Европе

Источник: Нравственные ценности в эпоху перемен. М., 1994.

Было время, когда такой романтический мыслитель, как Новалис, мог озаглавить свой знаменитый фрагмент: «Христианский мир, или Европа» («christenheit, oder Europa»). Разумеется, и тогда в 1799 г. как раз на исходе столетия Вольтера и Руссо, после опыта якобинской политики «дехристианизации», неведомого со времен Диолектиана, заглавие это уже отдавало стариной, как оно и приличествует романтикам. И все же оно оставалось в пределах возможного. С тех пор не успело еще пройти второе столетие, — но где мы сегодня?

Архиевропейское, всеевропейское понятие «христианского мира» — лат. christianitas, англ. Christendom, нем. Christenheit; франц. chretiente, засвидетельствованное, как известно уже в «Песни о Роланде», и т. д. — это ключевое понятие, созданное средневековым образом мысли, все еще значимое для реальности раннего нового времени, стало для нас таким далеким, таким призрачным.

Сегодня по всему миру, на всех континентах, в самых разнообразных и экзотических регионах можно сыскать христиан; подчас вера наших новообращенных братьев кажется более свежей, более живой, чем у их единоверцев в старой Европе. Да, христиане есть повсюду — но по большей части на правах меньшинства, достаточно часто — меньшинства угрожаемого, подставленного под удар; такое уже пришлось повидать и европейским странам. В старых городах Запада над базиликами, чтимыми из рода в род, горделиво возносятся корпуса деловых строений, а иногда — новенькие мечети. На улицах моей родной Москвы, православной столицы былых времен, на этих улицах, на которых вчера громогласно звучали мелодии советского официоза, сегодня слышатся напевы «Харе Кришна»; они до того прочно засели в памяти у сегодняшнего москвича, что уже подают основу для обыгрывания в пасквильных стихах на политические темы. Отпрыски многих поколений христианских предков, продолжая оставаться номинальными христианами, принадлежащими к тому или иному вероисповеданию, или, напротив, именуясь агностиками либо атеистами, на деле с равным рвением служат культу радикально секуляристского Духа Времени, чьи главные ценности — «efficiency», fitness и вседозволенность, а эрзац для

86

тайны — возможно, астрология или еще что-нибудь в этом роде; устав от секуляризма, они обращаются в какую-либо «экзотическую» религию, порой, и притом все чаще, в ислам, — не говоря уже о неведомых демонах «молодежной» субкультуры т. н.

А там, где мы встречаем подлинное живое и творческое христианство, оно все реже и реже оказывается унаследованным от родителей, обусловленным семейными традициями или хотя бы национальной принадлежностью. Вспомним для примера ведущих деятелей католической культуры в нашем столетии: процент лиц, «обратившихся в католичество», «пришедших» к нему, очень высок. Предки Г. К. Честертона были пуританами — крайними антагонистами католической веры. Жак Маритен родился гугенотом, его жена Раиса — украинской еврейкой. К старому гугенотскому роду, переселившемуся в Германию (и давшему России знаменитого Петрова сподвижника) принадлежала Гертурда фон Ле Форт, которой удалось создать нечто вроде немецкого аналога религиозной лирики Клоделя. Кардинал Люстиже — по рождению польский еврей. Что касается

ведущих православных мыслителей, ограничимся тем, что назовем Оливье Клемана, который равным образом пришел на свет как отпрыск гугенотских предков и атеистических родителей, чтобы обратиться к вере под воздействием примера интеллигентов из круга русской эмиграции.

Снова верно то, что было верно во времена Тертуллиана: «Христианами не рождаются, но становятся» — «Fiunt, pop nascuntur christiani». Все чаще происходит обмен привычных ролей: христианам т. н. третьего мира отнюдь не чужда мысль — идти миссионерствовать в Европу» (подобно тому, как у нас потомок еврейских предков О. Александр Мень миссионерствовал на земле, когда-то бывшей Святой Русью). Положим, наша многолюбимая Европа еще может в каком-то контексте быть названа «первородной дочерью Церкви» (как некогда именовалась Франция); впрочем, если понимать вопрос о возрасте буквально, приходится вспомнить, например, о христианстве коптском или сирийском, — но дело даже не в этом. Само собою приходит на ум отрезвляющее воспоминание о том, сколь часто в Библии первородство отнимается у одного и передается по Божьей воле другому, а равно и о непохвальной роли, каковую Старший Брат играет в евангельской притче о Блудном Сыне. На редкость актуально сегодня увещание Иоанна Крестителя: «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Матф. 3, 9).

В определенном смысле позволительно сказать, что вернулись времена «Послания к Диогнету» — незабываемого литературного памятника раннехристианской поры (2 в.). В нем мы читаем: «Ни земля, ни язык, ни обычаи не отличают христиан от прочих людей.

87

Они исполняют обязанности наравне с гражданами, однако подвергаются гонениям наравне с чужаками. Каждая чужбина — для них отчизна, и каждая отчизна — чужбина».

Это написано еще до становления средневековой институциональной системы, которая единожды возникнув, из рода в род, из Века в век воспринималась как само собой разумеющаяся данность; до рождения «христианского мира» вера без внешней защиты, жизнь, в которой ничто не разумеется само собой.

Один из самых радикальных вариантов этой ситуации был испытан верующими России в большевистские времена. Все, решительно все в составе христианской традиции, христианской культуры, что в принципе поддается разрушению, разрушалось абсолютно бесцеремонно, с величайшим размахом, — и выжить могла только нагая вера, предоставленная самой себе. До чего вера становится убедительной, когда она живет вопреки всему собственной внутренней силой, когда последняя пядь земли у нее отнята, и огненным языком Духа Святого остается место лишь в воздухе, над головами верных! Нынче время гонений миновало, и нам грозит скорее противоположная опасность некоей неумелой пародии на православный истэблшмент в позднецаристском вкусе, — но как раз неловкость, несообразность этой пародии напоминает нам об истине, которая слишком дорого оплачена муками верных, чтобы о ней позабыть. Я убежден, что опыт «пограничной ситуации» веры в ленинско-сталинские годы еще пригодится в будущем, и не только нам самим. Князь мира сего, чей лик, лик апокалиптического Зверя, нам довелось однажды увидеть без всякой личины и разглядеть с мучащей отчетливостью остается и сегодня тем же; и его сущность не зависит от географических обстоятельств, равно как и от времени. Меняет он только свои приемы, но не свои цели.

Убедительно прошу не понимать моих слов в духе некоей псевдо-эсхатологической паники, каковую столь часто приходится наблюдать в кругах «интегристских» и попросту сектантских. Было бы, однако, до крайности жаль, если этика сопротивления, одновременно мирного и непримиримого, выработанная противостоянием тоталитарным режимам, оказалось бы утраченной христианством завтрашнего дня. Ибо сопротивление при всех условиях остается христианским императивом, христианской жизненной нормой; сопротивлению князю мира сего — и тогда, когда оно лишь косвенно относится или вовсе не относится к сфере политики. «Не сообразуйтесь веку сему», — учил нас апостол Павел (Рим, 12, 2): наша душа, наш дух не должны угодливо подлаживаться к духу времени, к наличному — и преходящему — состоянию мира. Если другие духовные истины мы уже не в состоянии увидеть так ясно, с такой непосредственностью, как их видели наши предшественники в классические времена «христианского мира», — эта истина предстает нам

88

столь неотразимой, какой со времен первых христиан, «первой любви» (Откр. 2,4), она представляла лишь избранным: конформистское христианство — не более чем логическая ошибка, *contradictio in adiecto*. Не даром Господь наш назван «знаменем пререкаемым» (Лк. 2,34). Но политический конформизм — лишь одна из возможностей зла; в определенные времена и в определенных условиях куда опаснее конформизм стиля жизни, конформизм моды, конформизм духа времени. Христианин, который не готов к тому, что на него будут косо смотреть, а то и смеяться ему в лицо за то, что он, как-никак, живет иначе, чем живут чада мира сего и тем требует «современный вкус», — не заслуживает того, чтобы именоваться христианином.

Я вынужден еще раз предупредить против ложного понимания моих слов; у меня нет ни малейшего сочувствия ни «рвению не по разуму» современных зилотов, одновременно столь экзальтированных и столь бесчеловечных, ни фарисейству, готовому и сегодня, как во времена Господа нашего, возлагать на верующих «бремена неудобноносимые», ни мечтам о реставрации ушедших исторических условий. Все ненужные конфликты с реальностью нашего времени, в которой Бог определил нам жить, должны быть избегаемы. Я не имею принципиальных возражений против замысла католического «аджорнаменто», даже если в деталях выполнения этого замысла я с огорчением примечаю то, что мне представляется несообразностями. Что касается православия, в частности, православия русского, то я, вопреки мнению многих моих друзей, вопреки моему собственному консервативному вкусу, не могу не видеть неизбежность ряда перемен, и способен лишь пожелать, чтобы перемены эти были разумно проведены в жизнь, так, чтобы вызвать минимум потерь и максимум приобретений. «Обновленцы» раннесоветской эпохи надолго скомпрометировали у нас любой разговор об обновлении; однако из того, что лидеры «обновленчества» — отнюдь не все шедшие за ними верующие, а именно лидеры — опозорили себя комплотом с безбожной властью и прямым предательством законной иерархии, даже из того, что затеваемые ими реформы слишком часто противоречили канонам, вкусу и здравому смыслу, отнюдь не следует будто проблем, каковые они пытались решать в неподходящее время и недолжным образом, вовсе не существует. Как все живое церковная практика в своих внешних формах менялась на всем протяжении истории христианства, с древних времен и донныне. Но если христианство, сохраняя верность трезвому реализму, столь характерному уже для апостола Павла, может и должно считаться с действительностью времени, оно обязано оказывать сопротивление «духу времени», т. е. тем идеологическим фантомам, которые паразитируют на этой действительности. Отличить одно от другого отнюдь не легко, но совершенно необходимо. Граница между действи-

тельностью времени и тем, как время истолковывает себя и оправдывает себя, тем, как оно само хотело бы себя видеть, — это предел, далее которого не может идти никакое здоровое «аджорнаменто», никакое позволительное «обновление». «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки» (Евр. 13, 8). Обстоятельства меняются, и что надо видеть, чтобы говорить о вековечном благовестии — реальным, а не выдуманным людям. Но ни при каких обстоятельствах «дух времени» не должен становиться последней инстанцией для христианского вероучения и христианской совести.

Этот «дух времени» проявляет себя, как абсолютный релятивизм, который готов признавать все, что угодно, кроме поисков абсолютной истины. Одно из его выражений — т. н. сексуальная революция, которая давно уже действует отнюдь не только «пермисивно», но и агрессивно, развязывая моральный террор, который, похоже, превзойдет все кошмары лицемерия, ханжества и «прюдства» былых времен — по общему закону, по которому революционный террор эффективнее, нежели старорежимный. Христианская этика, оставаясь верной самой себе, при любой степени такта и миролюбия со стороны своих носителей неизбежно становится вызовом умонастроению, празднующему свою победу и стремящемуся принудить всех к безоговорочной капитуляции.

Земная посюсторонняя, институциональная защита, которую система «христианского мира», «христианского общества», «христианского государства» хотя бы по видимости обеспечивала для ценностей нашей веры, утрачена невозвратно. На предвидимое будущее мы все приглашены основательно поразмыслить над текстом Послания к евреям 13, 14: «Не имеем здесь постоянного града, но взыскуем грядущего».

Разумеется, огульные суждения всегда опасны. То тут, то там Бог еще сберегает в Европе оазисы, в которых жизненная норма доселе в большей мере определяется драгоценным наследием традиционного благочестия. Наша обязанность — ценить и по возможности сберегать эти оазисы: как знать, быть может, еще наши внуки найдут там утешение и увещание для своих сердец. Но это лишь осколки бывшего «христианского мира». И разве современность и «дух времени» со всеми аксессуарами не находят дороги в эти уголки? Для героического католицизма поляков квазидемократическая вседозволенность оказывается врагом едва ли не более опасным, чем были вчера коммунистическая идеология и советская оккупация. Как бы то ни было, оазисы — всего лишь оазисы посреди широко раскинувшейся пустыни; и «пустыня растет», как в свое время напроорочил Ницше. Однако именно в пустыне, не в ином месте, велит пророк Исайя готовить пути Господу. Благо тем, кто посреди пустыни наших дней сбережет нечто от духа пустынноносителей, Отцов Пустыни! Если будет на то Божья воля, из подвига новых Отцов Пустыни

родится новый «христианский мир». Но он будет совсем новым, еще невиданным: ибо Господу нашему не свойственно повторяться — Он «творит все новое» (Откр. 21, 5). Но в ближайшем будущем, доколе близорукое мое зрение может различать контуры предметов, я вижу только дальнейшее развертывание логических следствий ситуации «пустыни», — иначе говоря, ситуации христианства без «христианского мира».

Нам необходимо ясно понять, что именно является самой антагонистической противоположностью нашей веры. Атеизм старого закала, искавший для себя научных

или псевдонаучных обоснований, давно уже не страшен. Он близок к смерти; будущее готово нанести ему последний удар. «Внутренний опыт» атеизма, так обстоятельно обсуждавшийся теологами и религиозными философами 20 столетия относится к числу проблем, в общем, разрешенных; если он когда-нибудь имел самостоятельное содержание, в чем я лично осмеливаюсь сомневаться, содержание это как следует переварено и усвоено христианской мыслью. Но упадок атеистической идеи, — увы, отнюдь не причина для благочестивого ликования верных. Более наивными, более простосердечными и чистосердечными, чем наши, были времена, когда идея Бога и для отступника оставалась настолько важной, что отделаться от нее можно было только посредством формального, теоретически провозглашенного отрицания. Эти времена миновали. Радикальный релятивизм и прагматизм в сочетании с практикой модного образа жизни порождают весьма специфическое состояние души, при котором вопрос о бытии Божиим, не получая отрицательного ответа, утрачивает — заодно со всеми остальными «последними» — всякую серьезность. В перспективе феноменологии человеческих типов это гораздо страшнее, нежели атеизм.

Подобному злу христианство будущего должно противопоставить твердую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьезность. Чтобы справиться с этой задачей, ему нет надобности являть себя ни специфически «консервативным», ни специфически «либеральным» и «передовым»; от него требуется быть всего-навсего — убедительным. (Легко сказать!) Иное дело, что всегда, по-видимому, будут богословы, сравнительно «консервативные» и сравнительно «либеральные»; но в своем статусе идей и теологический консерватизм, и необходимо предполагающий его и соотнесенный с ним теологический либерализм обречены в значительной мере утратить смысл. Дело в том, что по смыслу обе эти тенденции были слишком сильно обусловлены ситуацией постепенного распада старого «христианского мира»; консерватизм тщился сохранить распадавшиеся связи, либеральная теология, напротив, желала высвободить из власти этих связей индивидуальное религиозное чувство. Слишком очевидно, что в «мирском Граде», в «Secular City» Гарвея Кокса консер-

91

ватизму нечего больше охранять, как либеральной теологии некого больше освобождать: первый рискует опуститься до уровня безнадежной ностальгии, вторая — до уровня жеста и фразы.

«Будущее» — это приходящие в мир поколения. Для них должно христианство явить свою убедительность. И в этой связи нелишне помнить об одном замечании Т. С. Элиота: молодым людям, которые хоть чего-нибудь стоят, не только честнее, но и прагматически благоразумнее предлагать христианство как возможно более требовательную веру. Все, что не в меру удобно и уютно, вызывает у них законное отвращение.

Чтобы оставаться собою, христианство должно возможно строже соблюдать дистанцию по отношению ко всем посторонним для него целям, — в частности, националистическим. Это — требование духа и одновременно требование реализма, поскольку христианство все более зримо и отчетливо будет верой христиан, а не «христианских народов». Правда, именно сегодня мы переживаем в экс-коммунистической Восточной Европе катастрофический взрыв национализма, приносящего с собой, в числе иных бедствий, также новейшую подделку под религиозные войны эпохи конфессионализма! например, у сербов и хорватов. Следует надеяться, что этот взрыв — слишком очевидно порожденный скоропреходящей ситуацией так называемого «идеологического вакуума» и не имеющий более глубоких оснований — окажется недолговечным. И затем последует неминуемая

реакция. Все, что сегодня компрометирует себя связью с националистической истерией, испытает на себе тяжесть того же презрения, которое сегодня падает на то, что опозорило себя угодничеством перед тоталитаризмом вчерашнего дня.

И надо полагать, надо надеяться, что будущие поколения спросят не о «национальном» (или напротив, «либеральном») христианстве, но о христианском христианстве.

Именно поэтому весьма вероятно, что они будут искать скорее Церкви Христовой, Святой и Единой, нежели «конфессиональной идентичности» как таковой. Выше мне приходилось говорить о том, что Катf христианская вера, так и ее конкретные формы все реже и реже наследуются по праву рождения, всасываются с молоком матери. Во многих отношениях это весьма печально — для христианской культуры в самом широком смысле слова: неофит должен искусственно, впадая в опасности натужного безвкусия, воспитывать в себе навыки, которые у прежних поколений христиан проявлялись с красивой естественностью прирожденного инстинкта. Но для вселенного сближения, а даст Бог — и воссоединения «людей христоименитых» такая ситуация создает новый шанс. Вместе с наследуемой верой наследовались также вековые конфессиональные обиды и предубеждения, вместе с гражданской религиозной культурой — исключительность этой культуры. Но для того, кто в ширящейся пус-

92

тыне грядущих дней, в безвоздушном пространстве и состоянии невесомости, порожденных тотальным релятивизмом, свободно выберет Христа, едва ли будут особенно интересны старые просроченные счета, которые одна христианская конфессия предъявляет другой.

При этом, однако, необходимо ясно сознавать, что сколько-нибудь подлинный синтез конфессионально обусловленных типов христианской религиозной культуры — крайне трудная задача для будущего, которая потребует кропотливой работы. О тиражированных копиях все тех же двух или трех самых знаменитых православных икон, которые так часто встречаешь нынче посреди довольно чуждой им обстановки в католических, а порой и англиканских церквях, я не скажу худого слова - Боже избави! Но подобные явления — покамест даже и не подступ к решению задачи.

Задача синтеза остается весьма и весьма трудной: благоразумный христианин не может не страшиться всеобщей эклектико-инкретической неразберихи, грозящей доконать и без того расшатанное чувство духовного стиля и вкуса. Но зато решение этой задачи обещает неизмеримо облегчить борьбу с другими жизненными проблемами вселенского христианства. Христианский Запад остро нуждается сегодня в православном чувстве тайны, «страха Божия», онтологической дистанции между Творцом и тварью, в православной помощи против эрозии чувства греха; иначе те среди сынов и дочерей Запада, которые не устанут искать религии, достойной этого имени, будут все чаще уходить в сторону Востока нехристианского, — например, в сторону Ислама. Но и христианскому Востоку не обойтись без западного опыта более чем двухвековой жизни веры перед лицом вызова брошенного Просвещением, без всего, что оказалось «наработано» западной рефлексией над проблемами нравственного богословия и сопряженного с ним богословия права, без западного вкуса к терпеливому различению нюансов, без императива интеллектуальной честности; иначе жизненное право демократической цивилизации будет вновь и вновь разыгрываться у нас как козырная карта против христианства, которую на уровне веры «малых сил» крыть окажется еще раз нечем. Западное христианство так часто вправе напомнить нам: «Братия! не будьте дети

умом» (1 Кор. 14, 20). Мы же иногда имеем основания напомнить нашим западным братьям: «Начало мудрости — страх Господень» (Пр. 1, 7).